







Александр  
Межиров

ТЕСНИНА

*Избранные  
стихотворения*



Москва  
2023

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5  
М43

Художественное оформление переплета  
*Натальи Портяной*

**Межиров, Александр Петрович.**

М43 Теснина : избранные стихотворения / Александр Межиров. — Москва : Эксмо, 2023. — 416 с. — (Поэзия подарочная).

ISBN 978-5-04-181872-2

Книга, которую вы держите в руках, собрана к столетнему юбилею со дня рождения Александра Межирова – одного из самых значительных советских поэтов, по праву входящего в первый эшелон отечественных мастеров слова. Фронтовик и умелый лирик, внимательный и чуткий автор знаменитых стихотворений «Артиллерия бьет по своим», «Ладожский лед», «Баллада о возвращенном имени» и многих других – всё это Александр Межиров. Его поэзия – образец высокого человеческого достоинства, свидетельство о том, как независимый и сильный голос поэта способен ответить на сложнейшие вызовы времени. Книга избранных стихотворений подготовлена Михаилом Синельниковым – поэтом и литературоведом, близким другом Александра Межирова.

**УДК 821.161.1-1**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-5**

© Межиров А.П., наследники, 2023  
© Синельников М.И., составление,  
предисловие, послесловие, 2023  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-181872-2



## СТИХ РАСХОЖИЙ

Не знаю лучшего определения поэзии, чем русское старинное: «сопряжение далековатых идей». Вот сравнительно позднее стихотворение Александра Межирова, примечательное по содержанию и удивительное композиционно:

Чуть наклонюсь и варежку сырую  
На повороте подниму со льда,  
Подумать странно, как тебя ревную  
И как люблю... Должно быть, навсегда...

Еще болезни наши, наши морги,  
Могилы наши — ох как далеко!  
И я черчу веселые восьмерки  
На раскаленном льду ЦПКО.

Мне подражать легко, мой стих расхожий,  
Прямолинейный и почти прямой,  
И не богат нюансами, и все же,  
И вопреки всему, он только мой.

Не раз в публикациях последних лет стихотворение расчленялось, и последнее четверостишие печаталось как отдельное стихотворение. И даже в составе большой книги «Артиллерия бьет по своим...» (2006) предваряло также получившие автономию и независимость начальные строфы. Составитель (или редактор с корректорами) не могли уловить связи двух частей, постичь единство текста. Но только в своем единстве, неразрывном и упоительном, эти двенадцать строк имеют цену. Порознь одно выглядит как простая зарисовка, а другое — как выкрик самовлюбленной риторики... Но значительность приобретает оно только в целом! И тогда меняется природа вещей. Речь — о той вечной двойственности поэзии, которая, по словам Руставели, есть «род познания, возвышающего дух». Ведь только в поэзии одновременно повествуется о собственных переживаниях автора, о совершившейся судьбе, и — по велению познающего свою сущность языка, по воле стиха, выбивающегося в свое русло, — творится работа словесности. Нежное воспоминание о юношеской влюбленности соединяется с гордым, торжествующим ощущением творческой осуществленности. Содержание жизни обрело свою форму. Жизнь (как это гениально у Блока!) наконец «сожжена и рассказана»... И вдруг — и сверх всего — мы понимаем, что влюбленность превратилась в любовь, прошедшую через всю жизнь.

Именно «расхожий», а также «прямолинейный и почти прямой» межжировский стих врезался в несколько подзамерзшую послевоенную российскую просодию с веселой яростью и конькобежной скоростью. И вот оставил распознаваемый след на раскалившемся льду. Стихи Межирова, во-первых, узнаваемы по росчерку, по интонации. Во-вторых, они имеют обыкновение запоминаться, и ведь не столь уж это частое свойство вещей, выплывающих и мелькающих

в общестиховом потоке. Уделом Межирова в поэзии стало раннее мастерство, и рука его, твердо державшая перо, не ослабела с годами. Ремесленное мастерство становилось все изощренней, но в этом ремесле стиховая мощь с самых ранних лет соединялась с работой совести. Можно сказать, с ее муками... Один ровесник, ставший, лишь дожив до седых волос и уже «во времена вегетарианские», модным стихотворцем, все не мог простить Межирову его еще юношеских успехов и упрекал в аморализме, в отсутствии каких бы то ни было нравственных размышлений. Александр Петрович и сокрушенно, и насмешливо пожаловался мне, нередко моему своему собеседнику: «Куда же деться от нравственных размышлений!» И в самом деле столь многие (да едва ли не все!) стихотворения Межирова продиктованы прежде всего чувством вины и жадной покаяния. Ну да: «Темная, угрюмая, упрямая, / Вкривь и вкось истерзанная сплошь, / Что ж ты надрываешься, душа моя, / Творчеством заняться не даешь?»

Вышло так, что, вопреки хронологии, учитывающей годы рождения поэтов, гражданская по существу (на глубине второго и третьего слоя) лирика Межирова и песни Высоцкого в общественном сознании пришли на смену гражданственной лирике Евтушенко и песням Окуджавы. Межиров и Высоцкий вышли на авансцену в эпоху несравненно более трудную и темную, из которой ушел кислород благих ожиданий. И дали этому времени тихо выдыхающегося, подкипающего застоя его «цвет». Во втором случае, как, впрочем, и в первом, главными были два важнейших явления, здесь названные. Все остальное — к сему.

Дело иных поколений — определить значение в отечественной литературе поэта, ушедшего от нас еще так недав-

но: слишком мало времени прошло. Еще возникнет пафос дистанции. Но одно несомненно: каким бы поэтом ни казался и ни окажется в позднейшей оценке Межиров, в его характере были черты крупной личности. Он обладал свойством наиболее выдающихся писателей, таких как Томас Манн и Анна Ахматова, считать лично себя ответственным за все совершающееся в стране и мире. С годами он становился лишь беспощадней к себе, только радикальней. В ответ на заявления, что поэт существует не только в обществе, но многими нитями связан и с природой, и с космосом, и с миром незримого, непримиримо резко отвечал, что поэт для него существует лишь в мире социальных отношений. Говорил, что давно утратил интерес к пантеизму и охладел к гениальному Тютчеву (кроме, пожалуй, стихотворения «Вот бреду я вдоль большой дороги...»). Вместе с Мережковским и по зову собственного сердца следовал за Некрасовым, который и был всегда любимейшим его поэтом...

...По-над Бзыбью, где горная пасека,  
Воцарился недолгий покой.  
Испросив перерыв на полчаса,  
Умываются бабы рекой.

Что вы роетесь в каменной глыбе,  
Что елозите вы по горам,  
Что вы строите, бабы, на Бзыби,  
То ли храм, то ли бар-ресторан?!

Женихов горожанки похитили,  
Городских нарожали ребят.  
В одиночестве бабы-строители  
Голый камень кирками дробят.

Ваша сущность издревле внеклассова,  
Беззащитен и мужествен вид, —  
И простуженный голос Некрасова  
Над ущельями хрипло звучит.

Как ни странно, стихи эти были напечатаны вскоре по написании. Но среди межжировских текстов разных лет бывали не только писавшиеся «в стол» (дело в конце концов обычное и для самых известных поэтов и прозаиков советской эпохи), но и такие, которые, как в фантастике Рея Брэдбери, десятилетиями сохранялись лишь в памяти автора и читались в минуты откровенности только самым верным людям. Лишь в разгар так называемой «перестройки» Александр Петрович решился доверить бумаге некоторые стихотворения...

«Меня писать учили Тулуз-Лотрек, Дега...» Ну да, родившийся в Лебяжьем переулке, в двух шагах от Музея изобразительных искусств, куда забегал, можно сказать, еще в младенчестве, он прекрасно знал мировую живопись и, что не менее важно, превосходно разбирался в ней. В его повествовательных стихах ощутимы уроки живописи. И все же писать его учили прежде всего создатели великой русской литературы, в равной мере ее поэты и прозаики. Как он любил строки Бориса Слуцкого: «Не молью побитая совесть, / А Пушкина твердая повесть / И Чехова честный рассказ / Меня удержали не раз»!

В 1915 году Валерий Яковлевич Брюсов написал замечательное письмо молодому Илье Эренбургу, к которому по разным причинам относился благосклонно: «Вся сущность поэзии в сочетании звуков и ни в чем более. „Идея“, „содержание“, „чувство“ etc — все вздор, все для публики, для Музы — одно: „звуки сладкие“, которые суть „молитвы“.

Я передаю Вам эзотерическую тайну, немногим ведомую... Когда-нибудь смысл слов Вам откроется. Поэзия есть искусство звуков, а не слов и, уж конечно, не понятий»<sup>1</sup>. Сдается, что Эренбург, который стал превосходным поэтом, Брюсову все же не поверил. А нам, кое-что знающим о чудовищном XX столетии, и вовсе нелегко принять брюсовскую истину. Но еще Александр Межиров, служивший и правде, верил, что поэтическое слово больше сказанного им, жил внутренним ритмом, дорожил интонацией. Слышал порой и божественный лепет невыразимого... В конце концов поэзию любил несравненно больше собственных стихов. Был неревнив, страстно загорался чужим вдохновением. Сохраняя верность классическому русскому стиху, говаривал, что заумные авангардистские эксперименты «не для людей». Но хорошо знал и то в поэзии, к чему не испытывал большой сердечной склонности. Хлебникова Велимира всего в юности прочитал по фотокопиям рукописей и сетовал на ошибки изданий. Вообще его память на стихи была невероятной: он сразу и навсегда запоминал каждое хоть чем-то выделяющееся стихотворение, прочтенное ему вслух. Автор мог забыть свое создание, Межиров — никогда и чужое...

Он умер, «насыщенный днями», как старцы Библии. «Дорога далека» — словами Якова Полонского, подхваченными Николаем Глазковым, называлась его первая книга. Дорога и в самом деле оказалась далека. На этом пути он изведal и мгновения торжества, и заслуженную славу, и любовь многих, и восхищение образованных современников, и клевету, и травлю, и предательство людей, по доброте сердечной извлеченных им из грязи, в которой надлежало

---

<sup>1</sup> Я слышу всё... : почта Ильи Эренбурга, 1916–1967 / изд. подгот. Б. Я. Фрезинский. — Москва : Аграф, 2006.

бы им пребывать. Была великая злоба мелких завистников, всегда шелестевшая рядом и радующаяся бедам поэта. Не зря Максим Горький сказал, что путь писателя «усеян гвоздями крупного калибра»... Я был знаком с Межировым четыре десятилетия, никто не был мне ближе в литературе, и никуда не деть эти сотни встреч, тысячи телефонных разговоров, письма, поездки, приключения, события, пережитые совместно. Конечно, я принадлежал к числу его ближайших друзей из младших поколений. Если у него, гонимого одиночеством, вообще могли быть друзья. Но все же сказано не попусту: «Есть товарищи у меня». И вот его товарищам, и мне в том числе, надо найти слова, чтобы поведать о главном в судьбе Александра Межилова, о его положении в литературе и жизни, о его жизненном подвиге...

Нет этого вечного собеседника. Самая невозможная из потерь, хотя на закате дней он стал так стар и даже немощен. Потеря, после которой остается в мире пустота, которую невозможно осмыслить. Нет звания выше, чем поэт, но, во всяком случае, он был не только поэтом, стихи которого у многих на устах, а некоторые стали именно — в высоком смысле — афористически «расхожими», но и удивительнейшим человеком, наставником нескольких поколений (даже собственного!), незримым демиургом нашей словесности. «Не сравнивай: живущий несравним...» И нет причин сопоставлять тот расцвет с последующим распадом и «разлитием». Но если все же искать исторических аналогий, то Межиров занял в нашем цеху место авторитетнейшего действующего мастера, создающего образцы, притом и арбитра — место Валерия Брюсова. С той разницей, что оставался живым, «живым и только до конца». Все нуждались в его уме и совете и не давали ему отдыха. И старшие, и младшие, и самые юные. Его ум заметен и на младенче-

ской фотографии. И в кадрах послевоенной кинохроники, где он уже, должно быть, в сотый раз читает прославленное стихотворение «Коммунисты, вперед...» и при этом думает думу свою... Считавший, что талант есть тоже разновидность ума, только особо перестроенного, он был умнее своих современников. И его редкостный ум был этичен. Межиров, видя человека насквозь, желал ему добра. Сделал много добрых дел. И анонимно. Находил в себе силу любить столь многогрешное человечество. «Да, и за таких людей умерли Сократ и Христос!» — говорил он и, возможно, стеснясь собственной горячности, приписывал высказывание старшему другу, грузинскому поэту Симону Чиковани (конечно, и благородному, и высокообразованному, и обладавшему мировой культурой, словом, способному сказать нечто подобное). Хорошо познакомившийся с народом в теплушках и блиндажах, заработавший «окопный нефрит» в Синявинских болотах, он с легкостью переносил изнурительные особенности коммунального быта, «новости и неудобства», знакомые толпе: «Запах жареной рыбы в квартирах / Отвращения не вызвал во мне...»

Признавался, что истинными участниками войны считает лишь тех, которые были на фронте в 41-м году... К одному стихотворению взял эпиграф из Самойлова: «Сороковые, роковые...» Отнесся равнодушно к моему запоздалому замечанию, что ранее это выражение возникало в стихах Антокольского, да и вообще оно восходит к Герцену (впрочем, в последнем случае — речь о сороковых годах девятнадцатого столетия, жандармско-казарменных, николаевских). С присущей ему корректностью воспроизводил эпиграф в разных изданиях. И ведь в конце концов дело было не в кем-то приватизированном созвучии, лежащем на поверхности и летающем в воздухе взаправду роковых годов.

Дело — в самом этом воздухе, насыщенном предчувствием гибели поколения, приносимого в жертву.

«Как быстро и грозно вертится земля, / И школьные старятся учителя...» Он был выдающимся наставником, истинным педагогом. Его разговоры за кафедрой запомнили 2000 слушателей Высших литературных курсов, где Александр Петрович много лет вел поэтический семинар. Но кто задумался, что он ведь не нуждался в солидной по советским понятиям профессорской зарплате! Деньги эти мог бы в один вечер поставить на кон, проиграть и забыть. В решении вести курс такого прерванного академического предмета, как поэзия, — и артистическое самовыражение, и стремление создать себе собеседников, попутно образовывая их. А среди них случались и выдающиеся природные поэты. Которым просто не хватало эрудиции. И вот с ними основательно была прочитана поэзия. Не только русская, не только «Белая стая» Ахматовой и «Тяжелая лира» Ходасевича, но и Гёте, и Тарас Шевченко, и Важа Пшавела, и туркмен Махтумкули в гениальных переводах Тарковского, и прельстительная поэма о кошках татарина Габдуллы Тукая... И вот выходит так, что прежде всего это была добровольно взятая на себя общественная миссия, в высоком смысле просветительская. Какое же представление о поэзии он передавал своим слушателям? Впрочем, не только слушателям этих курсов. Но и зрителям телепередач о поэзии — они стали явлением культуры в годы одичания. И тому же учил вереницы навешавших его в городской квартире и на переделкинской даче молодых стихотворцев, ненавязчиво подталкивая их в сторону не подражания, а самораскрытия, непрестанного чтения и размышления. Он сообщал им высокое мнение о ремесле поэта. Утверждал, что даже плохой поэт — высокое звание. И если между великим и небольшим поэтом — рас-

стояние, измеряемое световыми годами, то между поэтами и непоэтами — неодолимая пропасть... Он не скрывал своей раздраженной нелюбви к самодеятельности, неприязни к непрофессионализму. Кого-то полупрезрительно называл «полупрофессионалом». Эстетическим критерием была только пластика. Органичность, естественность... Ему виделась душа произведения. Форма могла быть корява, сосуд бывал с выбоинами и вмятинами. Но именно форма была судьбой. На дне сосуда не прекращалось мерцание... Самая оскорбительная межжировская похвала при слушании чьих-то стихов: «Красиво...» Он, конечно, имел свои вкусы, но не был фракционен. Стремился, чтобы раскрылось в каждом именно то, что самой природой в нем заложено. Пытался понять и все, что отстранял. Мы не Пушкины, да и он не Катенин, но учил, как Пушкина Катенин, отучая от односторонности. Учил ценить и чуждое поначалу и никогда не переносить личного отношения к автору на оценку его стихов. Боготворивший Межирова грузинский поэт Хута Берулава воскликнул восхищенно: «Стихи врага своего похвалит, если хороши!» Помню наш с Александром Петровичем спор о Михаиле Луконине, некогда его друге, дружба с которым прервалась в силу житейских обстоятельств. Я считал его лишь подражателем забытого Леонида Лаврова, а Межиров хвалил. И доказывал, что совсем это немало — хоть на какие-то сотые доли расширить регистр звучаний русского стиха.

Возможно, в творческие мгновения он верил во множественность истины. Отсюда эта поэтика парадоксов и взаимоисключающих эпитетов. Учитель нравственности, истинный воспитатель, он ведь и себя самого попутно и ежечасно закалял, настраивал, воспитывал. «Переформировка длится, длится, / Никогда не кончится она...» В одну пору жизни повторял: «Ничто в русских стихах не будет иметь значе-

ния, если не выражено то, что случилось с Россией!» Это ведь и себе самому в назидание!

Молодому поэту, написавшему несколько удавшихся стихотворений, Межиров дал встреченный с юношеским недоумением, но оцененный с десятилетиями блистательный совет: «Вы создали свой мир, построили свой дом! Теперь Вы должны его разрушить и из обломков построить новое!» Несколько позже тому же, родившемуся после войны стихотворцу, однажды оказавшемуся в творческом тупике, было присоветовано создать поэму о военной жизни на основе какого-нибудь фронтового эпизода. Понятно, что так давалось задание себе самому.

Поэт — явление ритма. Предположим, что ритмический рисунок широко известного стихотворения «Одиночество гонит меня...» заимствован из полузабытого (потерявшегося в первом томе), но мощного стихотворения Блока «В пыльный город небесный кузнец прикатил / Огневой переменчивый диск...». Но стихи Межирова далеки от блоковского символизма, они, как всегда, — свидетельство пребывания «в реальнейшем из всех миров / И уж, конечно, в объективном». Веривший в «остаточное братство цеховое», считавший свое занятие общим делом мастеров, Межиров был переимчив. В некоторых его стихах воспроизведены ритмические и стилистические ходы других поэтов — и сверстников, и тех, кто был моложе. Но позаимствованные слова и обороты в совершенно новом контексте засверкали иными гранями. И кроме того: ведь взамен взятому отдавалось столько собственного новонайденного и первородного... Горделиво сознавалась Ахматова: «Налево беру и направо, / И даже, без чувства вины, / Немного у жизни лукавой, / И все — у ночной тишины». В стихах Межирова — всегда собственные бессонница и интонация.

Что вообще значит заимствование, когда весь смысл творчества — в целостности произведения, в широком контексте! Одно из самых проникновенных стихотворений Межирова возникло из возгласа одной немолодой женщины, вернувшейся с симфонического концерта: «Какая музыка была!» Поэт очаровался этим вскриком и продолжил, вспоминая молодость и войну... Мы все окружены бурей музыки, но важно выхватить из прозы будней обрывок мела.

Как поэт Межиров — явление великой русской советской поэзии. В том смысле, в каком от советизма остались в итоге только удержанные исторической памятью суровые жизненные реалии, а не выгоревшие дотла идеологические штампы, и сам он превратился лишь в художественный стиль в ряду барокко, рококо и ампира. В этом смысле «советская» поэзия, даже подцензурная, но не утратившая потаенной связи с Писанием, могла быть и яростно антисоветской. И здесь учителями Межирова в равной мере могут быть названы Маяковский и Ходасевич, разделенные взаимной враждой родоначальники большого стиля. Перечитывая сегодня стихотворение, создавшее Межирову и первоначальную, и постоянную известность, — «Коммунисты, вперед!», — не будем уподобляться бедному Н. И. Бухарину, «никогда не понимавшему диалектики». Ясное дело, что смысл стихотворения несколько раз изменился со дня его написания. Стихи до того, как они механически были зачислены в инвентарь и инструментарий агитпропа, являлись отважным протестом против жульнической подмены идеологии, осуществленной Сталиным на переломе войны. Они взывали к патетической героике, требовали жертвенности, в сущности, христианской, прославляли отдавших жизнь «за други своя». Позже было написано другое прославлен-

ное стихотворение: «Мы под Колпином скопом стоим, / Артиллерия бьет по своим...» Конечно, первая часть высказанной истины не полна без этой второй ее части. Но вторая не отрицает первой. Оба стихотворения были искренними. Горько на склоне дней каявшийся в том, что умел «сказать неправду лучше, чем другие», Александр Межиров между тем сохранил внутреннюю свободу и в ранних, и в поздних, и в последних своих стихах.

Родившийся в интеллигентной семье, он был человеком высокообразованным и увеличивавшим свои знания в течение жизни. Притом что основой чтения были оба Завета и в какой-то мере Коран. Высокий библеизм был ему присущ. Вера в то, что в мире постоянно осуществляется божий закон. Его действие он ощутил даже в языческой Индии, которая потрясла его, возможно, не менее, чем Отечественная война, и заставила возвращаться вновь и вновь. В удугли-во-страшной Калькутте:

Молчат могилы, саркофаги, склепы,  
Из праха сотворенный — прахом стал, —  
Все разговоры о душе нелепы,  
Но если занесло тебя в Бенгал,

Днем, возопив на крайнем перепутье,  
Сырым огнем Бенгалии дыша,  
Прозреешь душу вечную в Калькутте,  
Которая воистину душа.

В чем виноват, за все меня простили, —  
Душа и представлялась мне такой.  
Воистину, как сказано в Псалтыри:  
Днем вопию и ночью пред Тобой.

Об одном самонадеянном литераторе он сказал вдруг, что единственное, чего этому товарищу не хватало, так это прочитать одну книгу — роман «Будденброки»... Да, но ведь для того, чтобы понять «Будденброков», надо предварительно прочитать тысячи три книг из сокровищницы мировой литературы. Пожалуй, можно назвать нескольких европейских авторов, особенно важных для становления нашего поэта. Данте, Сервантес, Макиавелли, Гёте с неизбежным Эккерманом, де Местр, Адам Смит (кто еще у нас его читал после Евгения Онегина!), Ницше (особенно ранний, эпохи «Несвоевременных размышлений» и «Происхождения трагедии»). Но, конечно, являясь как поэт продолжателем классической русской поэзии, главным образом, некрасовской ее линии, Межиров мыслящим человеком был, что называется, русской выделки. И здесь постоянными спутниками его стали прежде всего Пушкин и Толстой, но также и Сковорода, и Хомяков, и Герцен. И, понятно, Чаадаев, и, естественно, Владимир Соловьев (который далеко не был непротивленцем). Ну и Бердяев, и Федоров, и Шестов, и особенно любимый Федотов. И все сопутствующее. Вплоть до Бахтина, с которым возникла и краткая переписка. Но вот — главный узел: Леонтьев и Розанов в их коренном противостоянии и неразделимом единстве. Оставаясь, по существу, розановцем и являясь благородным консерватором и в жизни, и в поэзии, и в политике, Межиров стремился следовать завету честнейшего Леонтьева: «Писатель должен быть либерален в консервативные времена и консервативен в либеральные». В подцензурных стихах он умел, изоцряя воображение, сказать, что хотел. Возьмем, к примеру, стихотвореньице о тбилисских шоферах, обматывавших цепями колеса грузовиков на обледенелых серпантинных подъемах. Кончалось оно так: «...Без цепей / Не

осилить подъем, хоть убей!» Эмигрировал Эрнст Неизвестный, и цензура потребовала убрать из превосходного стихотворения о няне Евдокии четверостишие, ему посвященное. И, должно быть, любой поэт на месте Межирова принес бы эту жертву, чтобы спасти стихотворение. Но Александр Петрович не убавил, а прибавил — приписал еще одно четверостишие: «Мы в одной служили роте, / Нас разъединить нельзя, / Он в Москве — Буонаротти, / Во Флоренции — Эрзя». Прошло.

Догадываясь, что история российская движется и не по предначертаниям классиков марксизма, и не по заветам Витте и Столыпина, а лишь по стезе полковника Зубатова, не слишком уверовал и в обломно грянувшую гласность. За долгую жизнь научился чувствовать опасность и, понапрасну не подставляясь под удары, смиренно трудиться во имя добра. От людей хотел всего лишь человечности, дающей, увы, так трудно, и всей душой ненавидел культ силы, «добро с кулаками». Умел, почти не меняя тона, говорить и с великими естествоиспытателями, и с профессиональными игроками, и с истопниками, и со сторожами. Возможности зарубежных поездок, предоставляемые видным советским писателям, охотно использовал, свои книги регулярно издавал, чужие усердно проталкивал, а куплен не был. Милостей начальства не искал, от награждения орденом Трудового Красного Знамени, который хотели на него навесить в годы борьбы с диссидентством, уклонился. Перед народом не заискивал, но просто любил его: «И уже не подвластный гордыне, / Отрешенный от суетных дел, / Слышу так, как не слышал доньше, / И люблю, как любить не умел». Народничества же не терпел: «Видите ли, от народничества до национализма один шаг!»

Пожалуй, он был горд и скромен одновременно. Гордился дружбой с бильярдистами и мотогогонщиками по вер-

тикальной стене. Цирк убежденно назвал «Постоянным состоянием / Всех живущих на земле». В один из черных своих дней сравнил себя с опустившимся гитаристом: «Кем он был, этот старый, / Человек из пивной, / Владелец гитары / С дребезжащей струной. / Был хмельным и бездомным / Гражданином страны / Со своим, незаемным / Дребезжаньем струны». И дальше: «Вы на нем вымещали / Все свои неправы, / А ему не прощали / Волшебство мастерства». Именно подражатели его ненавидели и терзали. В какой-то день его жизнь из невеселой превратилась в просто мученическую и до конца оставалась такой. А он не был безгрешен, но все грехи его были грехами страстного поэта, а не чиновника. И вот он лишился родины. Не исторической, но истинной. Как нам его здесь не хватало все эти два десятилетия! А он потерял все, кроме любви, верности жены, дочери, внучки («И блаженных жен родные руки / Легкий пепел соберут...» — сказано Осипом Мандельштамом). Но поэзия его продлилась и в эмиграции. Столько чудесных и пронзительных стихотворений! И среди них одно из сильнейших, созданных на протяжении всей долгой жизни. Даром, что всего четыре строки:

Может родина сына обидеть  
Или даже камнями побить,  
Можно родину возненавидеть,  
Невозможно ее разлюбить.

Мне кажется, он умер, простив всем казнившим его «не за то»! Но был раним, боль ощущал, как никто. Еще в детстве, когда выслушал рассказ о крестных муках Спасителя, был поражен так, что на руках и на ногах образовались «раны гвоздиные» — стигматы. Такое бывало в Средневековье.